

Петровские байки
Непридуманные рассказы



16+

Надежда Зотова

Надежда Зотова

**Петровские байки и
непридуманные рассказы**

«ЛитРес: Самиздат»

2021

Зотова Н. Ю.

Петровские байки и непридуманные рассказы / Н. Ю. Зотова —
«ЛитРес: Самиздат», 2021

Книга включает в себя притчи про Петра Первого и приурочена к его 350-летию, которое будет отмечаться в следующем году. Известно, что в народе хранится множество воспоминаний о правлении этого незаурядного и неоднозначного человека, дерзнувшего вздыбить патриархальную Русь и вывести ее на широкую дорогу цивилизации. Долгая народная память является истинным свидетельством почитания и благодарности российского государства своему первому императору. Представляю на суд читателей еще несколько баек, посвященных этой великой личности. "Непридуманные рассказы" - это рассказы из жизни, которая столкнула меня с разными людьми и их судьбами, воспоминания моего детства, все то, что знакомо каждому из нас и дорого по-своему. Книга отредактирована и написана лично мной.

© Зотова Н. Ю., 2021
© ЛитРес: Самиздат, 2021

Надежда Зотова

Петровские байки и непридуманные рассказы

ПЕТРОВСКИЕ БАЙКИ

ЦАРЬ ПЕТР И КОРАБЕЛЬНЫЙ МАСТЕР

Слышь-ко, Пётр-то Ляксеич, царь наш, шибко высокого роста был. Идет, бывало, изда-лече видать, все выше всех. И даром, что царь, на работу злой был очень.

Сам от зари до зари в трудах и другим спуску не дает. Лодырей и лежебок очень не уважал. Боярам и боярским детям прямо горе от него. Привыкли, вишь ты, бездельничать, спать долго да есть сладко и горя не знать.

Раздуются от важности, как индюки, и только промеж себя собачатся, кто, дескать, знатнее да богаче. А коли царь в Думу завоет вопрос какой важный решать, так молчат окаянные, пучеглазятся друг на друга и царево слово ловят, чтоб поддакнуть раньше всех.

Ну, а Пётр-то Ляксеич, даром, что царь, того не терпел. Привык сам своим умом жить и того же с других спрашивал, чтобы смекалка не спала да умишко не тупился. Очень он, говорят, сметливых уважал, примечал их сразу и к делам государственным потихоньку приманивал. Иной и не хочет, а он так повернет, что и не отвертишься. Не по родовитости людей отмечал, не по кошельку тугому, по уму, по усердию, по тому, как человек за дело душой болеет. При нем много безродного народа в люди вышло. Бояре злились, конечно, пакостили тоже. Знамо дело, кому ж под холопом ходить хочется.

А царь и тут их перехитрил. Видит, что бояре носом водят, и ну давай женить да роднить одних с другими. Те, конечно, вить, плакаться зачинали: за что, мол, гнев такой накликали. А царь токмо глазищами черными зыркнет да как цыкнет на них: «Сполняй без рассуждения слово мое царское!».

Иных за казенный счет в Европу учиться посылал. На науку денег не жалел. Надолго вперед смотрел, чтоб российскому государству не в лаптях ходить впредь, а впереди всех быть и другим дорогу показывать. Сколь богатства у России, а нищая, сколь земли, лесов да рек без хозяйского глаза, сколь морей вокруг нее – некому и сравниться, а над нами все потешаются, сиволапыми почитают.

Обидно, вишь, Петру Ляксеичу стало! Побывал в Европах, подучился, званием своим не хвастался, простым трудом не гребовал, сам сперва всему выучился. И видит он, что тамошний народ куда как лучше нашего живет. Давай, мол, и мы так-то. Умом да искусностью Бог Русь не обидел, противу нашего-то те заморские много слабее, потому как Россия на перепутье всех дорог и стран, и с какой стороны ни зайди, все ее касается. Стало быть, нужно нам уметь ответ держать за все и нигде звания своего российского не терять.

А боярам новости царские не по нутру. Чуть царь отвернется – опять за старое, одним словом, фордыбачатся. Думал-думал Пётр Ляксеич, что же ему сделать, чтоб дела побыстрее наладились да время зря не пропало, и решил не боярам поклониться, а тем торговым да мастеровым людям, кои в государстве сейчас нужнее всех. Он, вишь, ради дела не боялся голову свою царскую преклонить перед простым человеком, от коего большая польза быть могла. Бояре-то поначалу хихикали: «Куда, мол, сермяжным мужикам справиться!». А царь свою линию гнет, не отступает, и пошли дела в гору! Тут уж боярам не до смеха стало. Смотрят, то тут, то там ваньки безродные поднялись, зашевелились толстопузые! Поняли, что так-

то все потерять могут. А царю того и надо. Дела-то, вишь, великие у него. Сколь сил надо, а деньжищ-то – тьма! Где и брать, если не у толстопузых да не у долгобородых! Одним словом, тряхнули они мощной. И с монастырей дань брал, никого не жалел, коли дело требовало. Ни черта, ни бога не боялся! Закрутилась Россия-матушка!

А царь не унимается. Пуще того жмет. Все сразу тянет, будто двужильный, на все его хватает и все ему мало. Кругом кряхтят-скрипят, а ему хоть бы что! Алексашка Меншиков, верный пес и приспешник его, и тот взмолился было: «Полегче, – мол, – Пётр Ляксеич, уж дюже круто берешь ты! Продыху никакого!». А царь и глазом не моргнул. Только и бросил ему досадливо: «Раю вам, – говорит, – не дам здесь, потому сам, как черт в аду, в работе киплю. А коли пуп слаб, так прочь ступай. Ныне силы есть у нас Россию тянуть!».

У Алексашки ажник дух сперло от страха, что тот его отпихнуть может, только и вымолвил: «Что ты, – мол, – Пётр Ляксеич, это я так только...».

– То-то, – царь Пётр отвечает. – На перинах да на подушках до обеда на том свете спать будете. А на этом я вам спать не дам. С петухами будете вставать, со звездами ложиться!». – И кулак Алексашке под нос.

Тот с тех пор и жалобы прекратил навечно. Знал царев крутой ндрав и скорую расправу, на своей шкуре не раз испробовал.

Но и царю, к слову сказать, иной раз перепадало. Он, царь-то наш, ходил, вишь, попростому, вроде как и не царь. Словцо крепкое, соленое уважал и не раз им пользовал да любил окромя своих придворных прихлебателей послушать, что в народе говорят про него и про дела его. И вышел случай с ним и с Алексашкой один раз.

Надумал он для России корабельный флот строить. Народу нагнал видимо-невидимо. Кипит работа кругом, а сам царь промеж работников расхаживает да поглядывает, что да как. Сильно разумел в этом деле, у самых наилучших голландских мастеров обучался и до того наострился, что те только диву дивились его смекалке. Царь им за науку почтение оказал и даже в благодарность повелел улицу в первопрестольной именем их города Амстердама наречь, да писарь подвел. Название-то нерусское, он то ли не дослышал, то ли так переврал, а записал, чтоб по приказу царя улицу Астрадамской назвали. По сей день она так в Москве и прозывается. Память, вишь, о Петре оставили, чтоб помнили дела его великие. Ну, так вот. Ходит Пётр Ляксеевич поглядывает, а Алексашка за ним следом бежит, все царевы замечания враз к исполнению принимает.

Увидал царь мастерового одного, залюбовался прямо. С собой он кряжистый, словно дуб, чернявый и спорый на работу. Топор в его руках так и играет, точно сам вырубливает и вытесывает.

Подошел царь к нему, руки в боки упер, стоит смотрит. Мастеровому то не понравилось. Воткнул он топор и говорит царю:

– Что пялишься, от безделья маешься? Тут и своих десятников-захребетников хватает! Экое весло без дела мотается, кака оглобля выросла, а ума не вынесла!

Царь аж головой дернулся и зубами заскрипел. Стоит, как в падучей, трясется от злости и слова вымолвить не может. Алексашка подскочил, хотел мастерового кулаком заехать, да царь не дал. Алексашка и говорит тут:

– Знаешь ли ты, холопья душа, с кем разговариваешь и на кого лаешься?

Мастеровой на царя глянул: по виду не барин, не купец, не крестьянин-лапотник, а Алексашка перед ним чертом вертится. Расфуфырился, как петух, важный, словно гусак. Чует мастеровой, что оконфузился, однако виду не подает.

– Что ж, – говорит он Алексашке, – одежда у него победнее твоего, а служишь-то ты ему, вона как перед ним кренделя выписываешь. Стало быть, поважнее тебя он птица будет!

Алексашка как палкой об землю стукнет да как завизжит на мужика, аж от злости красный, как рак вареный, сделался.

– Сгною, – орет, – сукиного сына! В каторги пойдешь, рожа мужицкая, лапоть лыковый! Я, – мол, – князь Меншиков, а это сам государь-ампиратор Пётр Ляксеич Романов, – и хотел мужика палкой огреть.

Однако царь опять вступился.

– погоди, – говорит, – Александр Данилович, – палку свою об него сломать успеешь. Дай-ка я сам с ним поговорю, попытаю, сколь силен он в плотницком ремесле. Вот, коли урок мой не выдержит, тогда за все разом ему и воздашь, чтобы лишку на себя не брал!

А мужик стоит, словно в землю врос, ни слова сказать не может, ни шелохнуться. Шутка ли, самого царя охаял!

Царь на него глянул, усмехнулся.

– Видал я работу твою, – говорит, – ладно дело делаешь. У кого учился ремеслу своему?

– Тятенька покойный учил, – мужик отвечает, – бывало, плохо сделаешь, так поленом отходит, свет не мил. Два раза повторять не любил, слету чтобы все бралось и чтобы с первого разу тютелька в тютельку!

– Знатная наука у отца твоего, – загоготал Меншиков, обращаясь к царю. – То-то, должно поленьев об него поломал!

Царь подмигнул мужику и тоже захохотал залиvisto и звонко. От этого и мужику вдруг стало смешно, и он сначала робко, а потом все бойчее начал вторить им глухим басистым рокотом.

– Да, брат, и мне случалось перепадало за криворукость мою от заграничных мастеров, когда в Амстердаме я был. Хороши там корабли, нам бы такие да побольше! Нужен России флот, для славного ее будущего нужен! Давай посмотрим, – говорит царь мужику, – кого учили лучше, чьи учителя искуснее.

И зачали они рядышком одну работу делать: царь – по-своему, мужик – по-своему. Алесашка из-за царевой спины мигает: уступи, мол, Петру Ляксеичу, деревня неотесанная. А тот ни в какую! Только покосится на царя исподлобья и опять за свое. Меншиков ему кулак сложил, погоди, дескать, сукин сын, уже тебе будет за все. А тому хоть бы хны, знай, себе робит.

Царь-то поотстал, злится, опять головой задергал, и глаза у него чернее ночи сделались. Вот закончил он работу, пот с него капает, топор в бревно воткнул и говорит:

– По времени обогнал ты меня, признаю, а вот какова работа, погляжу еще. – И напрямиком на мужиково место. А тот на цареву работу глядеть пошел.

Поглядел да и говорит царю прямо в глаза:

– Не годится супротив моей твоя работа, царь-государь! Родитель мой покойный об тебя не токмо полено, а и бревно бы обломал! Уж коряво ли тебя выучили мастера твои заморские или ты бестолков, а только работу б твою тятенька мой не принял!

А царь-то над мужицкой работой сидит и глаз не поднимает. Стыдно, вишь, ему, что сермяжный-то мужик его обштопал. Только делать нечего, надо ответ держать. Меншиков стоит ни жив, ни мертв, не знает, что и сказать. Надо же, мужицкое отродье, самого царя оконфузил! Но не даром Пётр Ляксеич Великим-то прозывался, не по росту токмо, по силе духа тож, говорит он мужику:

– Твоя взяла, душа из тебя вон! Сказывай, кто и откуда, как звать-величать тебя?

– Андрей Михайлов Ковшов, – мужик отвечает, – Воронежской губернии деревни Кряжи. – Сызмальства по плотницкому делу, семеро братьев нас.

– Добро, – царь говорит, – и что ж, все семеро плотники?

– Все, – кивнул мужик, – мы ершистые да к делу сноровистые! Ты уж не гневайся, царь-государь, на мужицкую правду, ее не всякий сказать может, жила не у всех позволяет!

– А тебе, значит, позволяет? – Засмеялся царь.

– Позволяет, – кивнул Андрей, – потому как прореха – всему делу помеха. Раз скособо-чишь, все вкривь пойдет, не выправишь опосля. Потому и делать надо, чтоб намертво стояло!

Обнял Пётр Ляксеич мужика и говорит:

– Ну, спасибо тебе, Андрей Михайлов Ковшов, за правду твою да за то, что не за задницу свою, а за дело душой болеешь. Вижу теперь, что поднимем Русь, коли русский мужик так берется, верю, что быть России державой великой! А тебе от меня за мастерство и за правду твою вот на память червонец золотой. Своих сынов вырасти да прикажи, чтобы славы твоей не роняли и России, как ты, служили, чтобы дальше тебя пошли и память твою добрыми делами вершили!

Поцеловал Пётр Ляксеич Андрея и дальше вместе с Алексашкой пошел. Тот только и успел головой покачать и руками развести: фортуна, мол.

Андрей Ковшов, говорят, в купцы потом выбился, разбогател, дело крепко держал, а почином тому будто червонец царский был.

КАК ЦАРЬ ПЕТР КУПЧИХУ СВАТАЛ

Царь Пётр Ляксеич тогда уж в годы вошел, в Петербурге жить зачал. А токмо нет-нет да и завернет в первопрестольную поразведать, как она, матушка, туточко без его хозяйского глаза. Знамо дело, ты хоть кого заместо себя оставь, а все едино с хозяйской рукой ничто не сравнить. В кумпанстве с ним и Алексашка Меншиков увязался. Энтот, как пес, везде за царем таскался и в такую силу при нем вошел, что и придворным боярам не снилось. Советчик первый при Петре Ляксеиче был. Деньгами крутил немеренно и в полном доверии у царя был. И так наострился царевы желания сполнять, что тот, бывало, токмо рот открыть хочет, а Алексашка уж во фронте: все, мол, сполнено, мин херц. Это он царя так называл по-немчурински, вроде как друг сердешный.

Ну, мужик ведь завсегда мужик, ежели мужик, хучь в каком чине ни будь. Вот и Пётр-то Ляксеич с Алексашкой святыми-то не были. Все же естество свое берет. Да и то сказать, эдакий мужичина да чтоб монахом прожил! Ни в жисть такому не бывать!

Я те больше скажу. Иной и смиренный и тихий, живет себе никого не трогает. Так нет тебе! Обязательно шельма какая попадетя, все мужчинское нутро перемутит, спокою лишит и зачнет, стерва, куражиться: вот, мол, я какая, возьми меня съешь. А токмо мужик сунется по простоте душевной – накося выкуси! И опять круть да верть перед его носом.

Иные просто болеть зачинают, сердешные, не пьют, не едят, до сухости доходят, а энтих еще больше забирает оттого, что власть такую над мужиком заимели. Одним словом, сучье племя адово, ядри их в кудыкину гору!

Ну, вот, значитя, Пётр-то Ляксеич с Алексашкой свои государственные дела сделали и решили передохнуть малость после трудов праведных. Москва не Петербург. Кругом попы да бояре, и все воют да жалятся, а то Петру Ляксеичу хуже ножа вострого. Покуда долгогривых да долгобородых с места сдвинешь, сам упреешь. Им бы сидеть коптеть да брюхо растить, а царь покоя не дает, аж сам запалился.

Вот и собрались они с Алексашкой чуток в кабаке охолонуть, душу отвести. Царь и говорит Алексашке:

– Ты, Данилыч, петушиное-то свое скинь, одень чего попроче. Запросто пойдем, а то ты враз меня обнаружишь, а я хочу так побыть-послушать.

Меншиков-то пыль в глаза пустить любил, но царя послушаться не посмел, переоделся по-купечески.

Пришли они в кабак. Сели. Кругом шум, гам. Мужики пьяные песни орут, пляшут. Ну, кто во что горазд. Половые только штофы успевают подносить. Смотрят, за одним столом мужик сам с собой сидит. По виду купец, справный мужик, токмо смурной очень. И тянет горькую одну за другой, будто воду пьет. Царь подмигнул Алексашке, дескать, тащи сюда его. А купец ни в какую, сидит недвижимо и токмо головой мотает и пьяные слезы вытирает.

Царь не погордился, сам к нему подсел, Алексашка тут же присобачился. Налил Пётр Ляксеич всем по чарочке, чокнулся с мужиком и говорит:

– Выпей со мной, мил человек, за здоровье мое с кумпаньоном моим да и за свое тоже.

Выпили. Поставил купец чарочку на стол, встал, царю поклонился.

– Благодарствуем, – говорит, – за угощение и долгого вам жития.

Тут царь его и спрашивает:

– Прости, – мол, – если не в свое дело лезу, только с чего ты так печалишься-кручишься? По виду-то ты мужик не промах, собой ладный да и не голь пережатая, али горе у тебя какое непоправимое?

Мужик только рукой махнул и опять за горькую.

– Э, – царь говорит, – в пустое дело ты ударился. Сия водица горю не поможет, а самого сгубить может, – и хватить его за руку. – Ты лучше расскажи нам с кумпаньоном моим про горе свое, вдруг чем пособим и тебе душе полегчает.

– Верно, – Алексашка подхватил. – Ничего хуже нет горе с самим собой мыкать, надорвешь нутро – потом не выправишься. Сказывай лучше, что за беда с тобой приключилась.

– Эх, люди добрые, – вздохнул купец, – не знаю, как и приступить к рассказу моему. Оттого молчу, что насмешек боюсь, сколь вынес их – не счесть, стыдно и рот открыть.

Царь с Алексашкой переглянулись.

– Уж не баба ли виной всему? – Алексашка спрашивает. – Они ведь на всякие такие штуки горазды до невозможности.

– Угадал ты, – мужик отвечает, – баба, купчиха наша, соседка моя Акулина Карповна.

Алексашка царю незаметно подмигнул, дескать, слушай государь. Царь трубочку прикурил, помалкивает, а сам купца глазами ест.

– Ну, дак что ж дальше, рассказывай, коли начал, – толкнул Алексашка мужика.

– Да чего уж там, – мужик отвечает, – люди, я вижу, вы нездешние, авось, если насмешку и сделаете, то где в другом месте, а мне, может, и вправду легче станет.

Он тряхнул копной кудрявых черных волос и медленно начал.

– Так что, люди добрые, зовусь я Антипом Тимофеевым Иголкиным, купеческого звания. Бога гневить неча: двор крепкий имею, хозяйство доброе, что от тятеньки перешло, да двух сестер замужних, тоже за справных купцов отданных, да матушку, что со мной осталась. Я к нашему делу сызмальства приучен. Бывало, родитель наш, куда ни поедет, с собой тянет, пушай, мол, приучается да помогает: и копейка целее будет и надежнее свой-то глаз. Так я уж поднаторел под рукой-то его. Дела шли – лучше не надо. У батюшки, вишь, нюх прямо на барыш был. Иной кто пока расторопится, а он уж взял свое. Завидовали многие, козни всякие строили. Сколь раз спалить хотели, только бог миловал. Он ведь шельму метит. А только батюшка все едино не уберется. Как-то по весне с обозом ехал, а одни сани возьми да и в полынью провалились, тонуть зачали.

Товару-то на санях много. Жалко, что пропадет зазря. Вот батюшка и почал нырять в ледяную купель добро спасать. Знамо ведь, как горбом своим тяжело наживать. Кое-как с мужиками сани-то вытащили, а тятенька больно сильно охолонул да с тех пор грудью и занемог. Прележал в горячке с месяц, сердешный, да и преставился, Антип набожно перекрестился. – С тех пор один я со всем стал управляться. Поначалу боязно было, за отцовской спиной кто не герой? Сторожко, по шажку, дело и пошло. Еще две лавки открыл, широко зажил. Коли б батюшка жив был, должно, доволен бы мной остался.

А по соседству с нами другой купец жил. Силантий Еремеевич Порфирьев, по-улишному Сила. Уж борода вполовину седая и голова с плешью, а все в бобылях. Хозяин он дюже справный, только не в меру жаден был. Среди купцов и то, бывало, ропот, что Сила из-под себя сожрать готов.

И вдруг, как гром среди ясного неба, Сила женится. По всему порядку гул, гудеж. Бабы с девками все языки отмотали, кто да что. Знамо, сколь кумушек с дочками на такой кусок зуб имели, да мимо рта пронесли. А Сила-то хитер оказался. Он девку эту давно уж присмотрел, только виду не показывал. Спугнуть боялся. Она, вишь, почитай годков на тридцать моложе его. Одна дочка у родителей среди шести братьев. Попробуй, обидь али что – зашибут до смерти. Опять же не голь какая, мощной не возьмешь. И зачал он на кривой кобыле их объезжать. В кумпанство к ним втерся да возьми и подставь их в казенном деле, так их в долги и вогнал. Рыпнулись они было чего, а он им векселя долговые, те и за головы схватились. «Отдавайте, – говорит, – девку за меня, не то всем вам каторга». Ну, те повыли-повыли и согласились.

– А что за казенное дело такое? – Царь тут спрашивает.

– Да по нашей купеческой части, – Антип отвечает. – Царевым служивым провиант да мануфактуру поставит. Коли что залежалось да гнить зачало, то туда запросто. За ничто гнилья накупят да с царскими ворами барыши и поделят, будто хорошего товару купили. Поди, потом разбери, кто виноват. А солдатик-то и вовсе человек казенный, кому ж ему жалиться?

Пётр Ляксеич прямо с лица почернел и головой задергался. Сидит, трясется весь, ажник стол ходуном ходит. Алексашка в муравья ужался. Тож шельма был, царев кулак за то не раз испробовал, знал, пес блудливый, за что бивали.

– Сыграли свадьбу, – снова продолжил свой рассказ Антип. – Прямо скажу вам, вроде и богато было и гостей довольно, а токмо веселья живого, радости никаких. Отец с братьями, как тучи, сидели смурные, что и зеленая их не брала, а матушка-то аж в голос выла, будто на похоронах. А невеста, изукрашенная вся, как с Силой на лавку села, так во всю свадьбу и глаз не подняла, будто каменная сидела. Гости-то закричат «Горько!», а она прямо побелеет вся, словно покойница, ни кровиночки в лице. Один Сила рад, расцвел, репей старый, и все ее бесстыже руками загребает да мнет без терпеху.

– Что ж девка так уж хороша, что твой хрыч стыда лишился? – Прищурив загоревшийся глаз, спросил царь и ущипнул себя за ус. – Заесило что ли так, что порты загорелись?

– То-то что заесило, подтвердил Антип, – должно, и порты загорелись. Я сам, как ее увидел, будто огнем меня опалили. Высоконька, не толста, но в теле, волос густой, темно-русый, а брови соболиной черноты, и глаза темны с огоньками, с лица дюже пригожая и статью хороша. Маков цвет девка, а такому хрену досталась! И вошла она в меня, как заноза, с той свадьбы. Не велю себе о ней думать, а она из головы нейдет, мимо дома ихнего иду – все глаза просмотрю, не мелькнет ли где в окошке, куда ни пойду, не чаю встретить. А Сила, сучий сын, как чует, никуда не пускает. Сидит моя кралечка одна взаперти да, прости господи, этого старого черта поджидает. – Антип широко перекрестился и сплюнул. – В церкви только и видались, как в воскресенье ходили, и то он там боле глазами зыркал по сторонам, чем крестился. К ней и баб никаких не подпускал, старуху только приставил доглядывать да его нахваливать, та все и шипела на всех окромя его. К отцу-матери и то не пушал, видать чуял, что не по себе сук срубил. Знамо дело, зять старше тестя... Да и жлоб тож, расходов лишних не допускал, снегу зимой не выпросишь. Так прошло два года.

– Деток-то, стало быть, не было у них? – Вмешался Алексашка. – В добре-то уж парочка бы и прибыла.

– Не было, – улыбнулся Антип. – Уж Бог ли не допустил от аспида такого или еще что, а не было. Не принесла ему Акулина Карповна ни сынка, ни дочки. Не бери не свое, все едино счастья не будет. Одна маята.

– Ты дальше говори, – поторопил его царь, снова наливая всем по чарке. – Промочи-ка горло да закуси для смака, – он пододвинул Антипу миску с жирной вареной бараниной, – веселей рассказ пойдет.

Чокнувшись, выпили и, жадно вгрызаясь в сочные куски, оба – и Алексашка и царь – вперились в Антипа горячими глазами.

– К тому времени, – снова начал Антип, – надумала матушка меня оженить. Уж и невесту присмотрела, нашу дальнюю сродственницу, и зачала ко мне издалека подступаться. Зря хулить не стану, видал я ее, хорошая девушка – и работающая и собой не плоха, а только не к моему сердцу. Я уж и так и эдак отшучусь – не унимается матушка.

«Пора, – говорит, – тебе, милоч, своим домом, своей семьей жить, а мне внуков качать. Отец-то не дожил до того, стало быть, на мне долг сей висит и мне его сполнять. А хозяйство у нас большое, и руки работающие мне в подмогу нужны. Допрежь она до всего дойдет, сколь воды утечет. Да и пора уж тебе в мужиках ходить, а не в парнях». Зудит и зудит, спасу нет. А как скажешь, что другая любя, да еще мужняя жена, да Силина хозяйка!

Антип тяжело вздохнул и опять, молча, подвинул свою чарку к штофу. Так же, не проронив ни слова, царь опрокинул пузырь и доверху налил Антипу водки, аж полилась даже через край. Залпом опустошив чарку, он утерся рукавом своей рубахи и продолжал:

– Знамо, в купеческом деле как: деньга сперва, хозяйство. А уж что шуры-муры какие, то дело десятое. Сроду так, кого мать с отцом присмотрят, те и суженая с суженым. Ослушаться воли родительской не моги – проклянут. Гольшом со двора стоняг. Опять же никакой надежи на Акулину Карповну у меня не было, одна сухота. Может, думаю и впрямь жениться, клин-то клином вышибают, авось, отобьется от души заноза. На масленицу смотрины сделали, уговорились на Красную Горку свадьбу справить. Матушка заравовалась до невозможности. И Сила зыркать на меня перестал. Что ж, дело решенное, со своей бабой теперича буду, ему, знать, спокойнее оттого. А только душа-то у меня не на месте, ровно рвется что-то внутри. Вот уж и матушка замечать стала, что не в себе я. «Что это ты, голубок мой, не захворал ли часом, не приведи господь?», – спрашивает. А сама смотрит так, как наскрозь сверлит. Я молчу, а внутри-то все трясется, вот-вот лопнет, самому-то и то страшно. А она не отступает: «Скажи да скажи, что с тобой деется, материнское сердце вешее, единственному сыну не враг». Бухнулся я ей тут в ноги и повинился. «Что хошь, – говорю, – матушка делай со мной, а только не жени, потому как не будет мне жизни без Акулины Карповны, Силиной жены. А пуще того боюсь, что безвинную душу загублю будущей своей суженой, потому как любить ее не могу и доли ей со мной не будет». Маменька в слезы. «За что, – воет, – бог наказал? Ведь, ежели Сила узнает, со света сживет. Ему, нехристю, человека сгубить да по миру пустить, греха никакого. Дознается, старый черт, хлебом лиха! И от людей сраму не оберешься, сколь языков злых да завистливых вокруг!».

– Эка ты, парень дурень, – Алексашка тут говорит. – Да слыханное ли дело у купца жену отбивать! Уж родителю яснее, кто тебе сгоже. А ты бы норов свой кобелиный за пазуху спрятал да и держал его там до поры до времени. Жизнь-то долгая, глядишь, и обломится чего и, може, оттуда, откуда и не ждешь!

– Здоров ты, Алексашка, другим в уши заливать, – усмехнулся царь Пётр. – Тебя послушать, так агнец небесный, а на деле-то я, чай, со счета сбился, скольким девкам да бабам ты юбки задирали. Знаю я натуру твою кобелиную, а тут ишь лазарем каким поет! Ты, Антип, его не слушай, представляй историю свою дальше.

– Вот ты так всегда, мин херц, – обиженно надулся Алексашка, – а я токмо для его пользы старался. Уму-разуму учил. Опять же и ты... – он запнулся, чуть было не сказав «государь», – и ты не святой, сколь раз одним грешком попутаны!

– Ладно-ладно, – неожиданно расхохотался царь, – однако же ври, да знай меру! Да язык за зубами покрепче держи, дела да и грешки наши с тобой уж больно многим не по нутру. Ты про это помни.

Антип растерянно и настороженно слушал их перепалку, поочередно переводя взгляд с одного на другого. Было видно, что он струхнул и уже не рад своему знакомству.

– Что, Антипушка, испугался? – Желая успокоить купца, спросил царь и ласково похлопал его по плечу. – Ты не бойся. Это я так Алексахке... Он, сучий пес, хвастать горазд, особливо, как винца попьет. Вот я и осадил его малость. А ты сказывай дальше.

Антипка-то хоть и молод был да и выпивши сильно, а смекнул, что не больно простые люди перед ним, хоша и назвались купцами и по виду вроде ему ровня. Царя-то Петра Ляксеича, он сроду не видал, а от отца-то слыхивал, что царь росту огромного и с ним везде главный его помощник мужицкого роду, а по званию выше всех именитых бояр. А тут, батюшки свет, сидят прямо перед ним два мужика: и один, как коломенская верста, а другой, вертлявый, ровно бес, перед ним крутится.

– Что это ты выпучился на нас? – Желая загладить вину перед царем, цыкнул Алексахка. – Дальше давай про Акулину свою рассказывай. Да не бойсь, не бойсь, вреда никакого мы тебе не сделаем, а пособить можем, коли что. Так что сказывай давай! – И он лихо подмигнул Антипу.

У Антипа от сердца отлегло. «Мало ли что спьяну померещится, – думает, – мало ли здоровенных мужиков в Россее. Только царю и дела, что по кабакам шляться да водку пить. Вона, и ручищи-то у него в мозолях да в копоты, нечто у царей так-то бывает!». И это совершенно успокоило его.

– Легко те лаяться, когда не тя касается, – огрызнулся Антип Алексахке, окончательно осмелев. – Знамо, чужую беду рукой разведу, к своей – ума не приложу. – Он сердито посмотрел в нагловатые насмешливые глаза Меншикова. – Акулина Карповна и в девках была загляденье, а в бабах еще пуще расцвела. Глаз отвесть невозможно. Оттого Сила-то и бесился. Мужики-то окрест только языками шелкали от зависти, да зря все. Маменьке-то меня жаль, конечно, да что делать-то? Поплакала она сколько-то, погоревала да и говорит: «Положись, голубок, на бога, он тя не оставит. А пока пусть все идет своим чередом. Коли это твое, никуда от тебя не денется». Так и порешили и уж боле об этом не разговаривали. Только радость с маменьки сошла, тихая такая стала, будто мышка.

Зима меж тем кончилась, занялась весна. Дружная такая, ранняя. Известно, купцы все, как муравьи, в своих дворах да лавках, а тут весной и подавно. Торговый люд, только успевай поворачивайся. Вот и мы так-то с маменькой – все в работе кипим. Свадьба на носу да прочие заботы – так наробишься, что едва до подушки доползешь, глядь, а уж спишь непробудно. Наступила Пасха, Пресветлый Христов День. И пошли мы с матушкой, как положено, в церковь. Глякося – и Сила тож с Акулиной Карповной своей идет. Сердце во мне захолонуло все: ни жив, ни мертв иду. Да и маменька лицом побелела. Поравнялись мы, христосоваться зачали. Сначала Сила с маменькой да со мной, потом уж Акулина Карповна. Поцеловалась она с матушкой, на меня глаза подняла. А из них так искры и сыпятся, словно кто там внутри огоньки зажигает, и сама она так жаром и пышет. Я стою, как чумной, а ей смешно – знай себе заливаешься, будто колокольчик, хохочет. И загорелось во мне ретивое пуще прежнего! Будь что будет, думаю, а где-нигде добуду ее себе. Матушке, конечно, ни гу-гу про это, итак уж я ее огорчил. На Пасху, известное дело, пей-гуляй народ. А у купцов-то особенно. Кажинный себя пошире показать хочет, спьяну-то очинно дурь любого видна. Тут те и мордобой, и самохвальство безбожное, и все, что ни на есть глупого в человеке выявляется. Иные под пьяную руку лезут, чтоб самим чем поживиться, либо вызнать чего да мало ли... Бывает, так зеленой хватят, память начисто отшибает. Ничего не помнят: где гуляли, с кем были и куды такую прорву деньжищ дели, наголо пропиваются. Вот таких-то дурачков Сила и обдирал. Сам-то он почти не пил, так только пригубит да поставит, а другого-то подпоит да в душу ему ужом и вползет. И уж коли что выведает потайного у человека, тут ему и удавка на шею, не даст жизни. И словно паук, будет высасывать того человека, пока до последней капли не высосет. Батюшка покойный хоть и не робкого десятка был, а с Силой сроду не связывался, опасался его и дел с ним никаких не имел. Другой был человек, не чета Силе-то, уважали его купцы.

День-то тот прошел-прокружился. По гостям да по будущей родне так находились, впору ноги рубить. Опять же выпили, как водится, разомлели и спали, словно убиенные. Только в ночь зачали к нам стучать, что ни есть мочи. Спросонку-то да выпивки не сразу и в толк возьмешь, что стряслось. А на улице – шум, крик, вопли. Мы в окошко-то – зырь, а там народ бегаёт, орёт, и кто с чем – с ведром, с лоханью – Сила горит!

Накинул я что ни есть на себя – и туда. Смотрю, возля Силиного двора толпа огромная, а уж дом его всю занял. Акулина-то Карповна стоит среди толпы не колыхнется, зато Сила орёт, что есть мочи, чтоб добро-то его спасали. Однако ж охотников не нашлось в огонь лезть за Силу, жисть-то дороже. Некоторые, кому Сила напакостил дюже, радовались даже, вслух лаяли шельму. Так он все сам бежал в избу горящую, понатаскал, что смог, видать, и деньги уберёг, да только и тут его жадность стубила. Уж навсё все загорелось. Лей не лей – толку мало, а он все в огонь бегаёт. Мужики-то, было, схватили его, да куда там! Будто взбесился Сила! Честит всех последними словами. Ну, и плюнули мужики. «Пушай, – говорят, – лезет, кровосос проклятый, коли лаётся по-собачьи да добра знать не хочет!». Сила-то и рванул от них в горящий дом. А тут как затрещало все... Сгорел Сила... заживо... – Антип замолчал и опять перекрестился. – Хучь и худой он человек был, – сказал он, – однако ж хрестьянин, и бог ему судья.

– А что ж Акулина Карповна твоя? – Нетерпеливо спросил Алексашка, – неуж не жалко мужа-то было? Всежки два года прожила с ним. А то, может, она того... двор-то спалила? Кровь-то молодая играет, а ходу нет. Вот она и...

– Господь с тобой, – замахал Антип на Алексашку руками. – И думать такого не моги! Нечто Акулина Карповна на душегубство способна? Что ты! На Силу зубов, будь здрав сколь было. Он людей-то не жалел, вот кто-нибудь из обиженных и отомстил. А ты такое... Акулина Карповна будто каменна стояла, не крикнула даже ни разочку. Бабы вокруг воют, голосят, а она стоит белым-бела, не шелохнется. Шутка ли в такой божий праздник покойник. Однако ж, кому горе великое, а мне, прости ты меня, господи, радость большая. Ведь свободной стала моя Акулина Карповна, и вспомнил я тут матушкины слова. Значит, думаю, точно она моя суженая. Так матушке и заявил, жениться на другой наотрез отказался. «Теперь, – говорю, – препятствия у меня нету и кроме нее жить ни с кем не буду. А что до другой, то пусть простит меня, за то и ей судьба выйдет, а не простит, то бог с ней. Теперь у меня одна дорожка – к Акулине Карповне. Так тому и быть!».

Что уж бабьего крику было на мою голову и не перескажешь, – продолжал Антип. – Однако кое-как все утихло. Туточки и зачал я приступать к зазнобе своей. Она, вишь, погорелица и баба, без мужицкой пособки тяжело одной, ну, я вроде и наладился в подмогу. Да не тут-то было! Смекнула она, поди, к чему дело идет, и так ласково мне говорит:

– Ты, Антип Тимофеевич, особливо не утруждайся со мной. В подсобку-то мне и батюшка и братья будут, а ты уж в своем доме хозяйевуй.

Меня как кипятком обдало. Вот, думаю, и сунуться не успел, как огрела. Вот те и молчунья-праведница! Родня быстро приспела, за дело дружно взялись. Да с деньгами-то чего не сладишь – быстро все поправили: и дом и подворье. Отец-то с братьями хотели опосля ее под себя подмять, да куда там! И им от ворот поворот дала. Так, не стесняясь, и бухнула: «Хочу, – мол, – сама на воле побыть и полной хозяйкой всему стать!». Мужики-то рты пооткрывали от такого оборота, однако ж, что сделаешь. Она здесь всему голова. Отец-то уж дюже сильно осерчал, никак не ожидал он, что дочка его так борганет.

И села она самостоятельно хозяйевать. Старуху ту, что доглядывала за ней прогнала, иных других сменила, закомандовала. Пошло дело-то у нее. Видать, не просто мужний хлеб два года ела, разумела купецкому делу. А чего не знала, спрашивала, не стыдясь, с поклоном: научите, мол, добрые люди, подскажите, что да как.

Купцы-то даром, что вдова, валом к ней валили. И собой-то она хороша, и при деньгах, и в деле купеческом разумница. Только никому ничего не обломилось. Посмеется она над очередным кавалером да и отмахнется от него: не желаю пока замуж – и все тут!

– Я, чай, мужики ей попадались сопливые да квелые, – досадливо поморщился Алексашка, – у меня бы уж не увернулась, язви ее в душу! Я б ей с ходу бы подол задрал – и поминай, как звали! Сама б послы за мной бегала, не то, чтоб в отказе быть.

– И то правда, – вмешался царь, – с чего это баба возгордилась так? Всегда у мужика верх должен быть, а она вас, как сусликов развела. Бабыя натура кривая, знай это. А ты свою линию гни, не отступай! Раз задумал – добивайся!

– Дык, если б просто так к бабе ходить, так чего ж легче. Подарок какой или деньгу, она и сама побежит. Добра-то такого хоть отбавляй. А тут другое дело. Как увижу ее, руки-ноги холодеют и язык, окаянный, не ворочается совсем. Как немтырь делаюсь, и в такую робость при ней вхожу, что хуже дитяти малого. И через эту свою дурь ничего путного сделать не могу.

– Тю-ю-ю-ю, -присвистнул Меншиков, – да он, мин херц, втюрился совсем. Жаль мне тебя, – он положил свою руку на плечо Антипа и громко по-жеребьячи заржал. – Я эти штуки их бабы знаю. Чуть почуют, что нравятся, и начинают пляски-сказки выказюливать, – он выразительно покрутил руками, – глазки строят, губки дуют и прочие свои бабыя небылицы обнаруживают. Сатанинское отродье, эти бабы, мороки с ними!

– Не бери греха на душу, Данилыч. – широко улыбаясь и блестя черными глазами, проговорил Пётр, – тебе ли на баб злиться? Уж ты ли не охоч до женского пола и разве не в фаворе у них? Где кобелю ни сучка – там и случка! Сколь их у тебя перебыло – счета нет. Ему ли с тобой и равняться, блудник превеликий. Он-то пред тобой – дитя неразумное.

– Что ж, мин херц, – смутился Алексашка, – я от того не отказываюсь. И я баб любил, и они меня, да и с тобой не раз грешили вместе, но уж чтобы заробеть перед бабой, как он, ни в жизнь!

– То-то, что ни в жизнь, – опять загоготал царь, – мы с тобой кобели старые да битые, а он-то еще щенок, что с него возьмешь? Мы с тобой того навидались, иному и в десять жизней не одолеть. А он чего коло мамкиного подола навидался? Нечто с нами сравнить! Нам, что ни хошь – все наше, а тут другая политес нужна.

Антип обалдело глядел на новых знакомых, смачно вспоминающих свои недавние приключения. Их лукавый настрой одновременно смущал и ободрял его. Он вдруг внезапно почувствовал в себе ту первородную мужскую силу, которая исходила от этих игривых под хмельком мужиков. И он, после стольких лет безнадежности, словно молодой дуб, налился соком мощности и задора, который бушевал в их жилах.

– Что же, – сказал он, подвигаясь поближе к ним, – с какого ж боку к ей подступаться? Нечто хитрость какую удумать али что?

– Экий ты медведь, Антип, – досадливо махнул рукой Алексашка, – только время зря потерял. Сказано ж тебе, надо было... – и он, сжав кулак, потряс им в воздухе, – ...ухватить так, чтобы не вырвалась, а ты «боюсь, робею»! Э-э-э! Тюфяк, ей-богу!

– Да я что, – Антип покраснел до самых волос, – я ж и сватов засылал, чтоб по-сурьезному, как у людей. Токмо все едино: не пойду, потому как вольной хочу быть. Да не то что мне, и другим тож от ворот поворот. Хочу быть хозяйкой во всем – и конец!

– Да, видать, твой Сила не расшевелил бабу-то как следует, – заливисто и громко захохотал царь, – слышь, Алексашка, она, поди, и не распробовала, что к чему! – Он подмигнул Меншикову, и теперь они оба принялись громко и безудержно гоготать, то и дело переглядываясь друг с другом.

– Вот те и Сила, – ржал Алексашка, – только где и в чем? За два года баба так и не поняла, что к чему, оттого и кочевряжится. Нечто б без мужика-то при достатке долго утерпела? Да не

в жизнь! А так, при дедовом мочале и охоты нет заново начинать! Тут как бы кобылку опять объезжать не пришлось!

– Ох, Данилыч, – вытирая слезы гоготал царь, – ядрен ты на язык! Ведь как, сучий пес, скажет, не в бровь, а в глаз! Ты, Антип, на ус мотай. Он, вражья сила, думаю, соленую правдую матку тебе режет. Так ты уж не взыщи, что она у него не мыта, не чёсана!

Антип, красный и потный от стыда, сидел, как ошпаренный. Было обидно за свою неловкость, робость и неопытность, и он уже жалел, что так открыто доверился этим двум незнакомым купцам. Их хохот и насмешки поднимали в нем ярость и глухую звериную злобу, готовую выплеснуться прямо сейчас на эти лоснящиеся самодовольные рожи.

– Ну-ну, – первым заметив наступившие в нем перемены, проговорил царь. – Уж и обиделся, уж и в драку готов! Не горячись, купец Антип! Не серчай на нас. Мы без злобы к тебе, а что смехом, то больше себя вспоминали, про что тебе еще и неведомо, поди. Вот оженим тебя на твоей Акулине Карповне да поживешь ты с ней годок-другой, так, может, и нас вспомнишь со смехом, поразумев-то всего. А пока не серчай, не надо... – Он ласково погладил Антипа по голове.

– Как же, ожените, – огрызнулся Антип. – Счас от стола встанем – и поминай, как звали. Вы – в свою сторону, я – в свою. Только что и памяти, что над дураком посмеяться. Вот, мол, простофиля какой, раскорячился по пьянке, широка душа!

– Ты, купец, играй да не заигрывайся! – Вскочил царь Пётр и так вдарил по столу кулаком, что чарки подпрыгнули. – Сказано, оженим, значит, так тому и быть. То ты сватал, а то я посватаю. Пусть мне попробует откажет. Сей момент беги к матушке своей, скажи, что сватать пойдем Акульку твою. Да сюда возвращайся, жди нас. А мы уж скорехонько поспеем с Данилычем, нам только другое чего для такого случая надеть, чтоб жениху не стыдно было. Да смотри, чтоб все чин чином было! За то с тебя спрошу! Ну, Данилыч, поспешим, время не ждет!

Антип ни жив, ни мертв обалдело тарашился на своих знакомцев. И огромный рост, и голос, повелительный и властный, и горящие огненным цветом глаза этого великана, заставляли подчиняться ему беспрекословно.

– Ох, и подвезло ж тебе, черт чернявый! – На бегу прокричал Алексашка. – Быть тебе на Акульке женатому! Делай, как сказано, потом все поймешь! – И он шустро побежал вслед за удалявшимся Петром. – Да шевелись проворней, а то нам ждать не досуг.

Будто закрутило Антипа: как домой шел, как матери в ноги бухнулся – как во сне помнит. Маменька-то в голос, в крик: как, кто, что, откуда? Словно снег на голову, сваты какие-то, да с приказом, да с грозью, да в одночасье. Однако Антип уперся.

Снарядился быстро, одел все праздничное, новое. Матушка прихорашивалась перед зеркалом, разглядывая себя в цветастой кашемировой шали, а на столе лежали петушастые, вышитые красным шелком полотенца, предназначенные для Антиповых сватов. Хмель с Антипа весь спал, будто и не пил совсем, и с бьющимся, словно колокол, сердцем он почти бегом помчался в трактир, боясь, что там его ждут и уже будет ему за опоздание.

Чад, пьяный гул и духота неприятно ударили в голову. Окинув всех взглядом, Антип успокоился: его новых товарищей еще не было. Он уселся ждать, посматривая на дверь. Проворный половой подлетел, лоснясь сытым круглым лицом. Антип сунул в его руку деньги:

– Так посижу, дожидаюсь я, иди с богом.

Половой, поклонившись, ловко сунул деньги за щеку и побежал к другому столу. Время шло, а купцов все не было. Антип взмок от волнения. «Должно, купили дурака, – думал он про себя. – Как мальчика, вокруг пальца обвели. То-то смеху им счас! Да и матушка ругаться зачнет, чем оправдаешься? Одно слово – дурак!».

Он уже было хотел уйти, как дверь отворилась, и вошли двое. Нет, не купцы, не какие другие люди – а в дорогах платьях, при шпагах и с лентами через плечо, улыбающиеся и румя-

ные – Антиповы знакомые. На головах их были треугольные шапки с перьями, и оба они имели вид геройский.

Трактир притих. Мужики и хозяйка сидели, разинув рот. Казалось, муха пролетит – и то слышно будет. Антип обомлел, сидит слова вымолвить не может. Слышанное ли дело, эки люди, а он с ними запросто. И они-то не фордыбачились нисколько: и про Акулину Карповну слушали и водочку с ним пили, не брезгали купцом простым. Заробел Антип. А Алексашка, пес такой, увидев разряженного Антипа, так и прыснул от смеха.

– Смотри, мин херц, – обратился он к царю, – обомлел от изумления. Ишь, вырядился как, словно петух сахарный, так что ждал, значит. Со страху-то помер что ль? – Захохотал он, обращаясь к Антипу. – Поклонись государю, дурья твоя башка, чай, не видишь, царь перед тобой, сам император Пётр Алексеевич! Вот в сваты-то кто тебе набился, тут уж промаху не будет!

– Да как же это? – Промямлил Антип. – Да нечто можно, что сам царь? – И боязливо глянул на Меншикова. – Прости, государь, коли что не так. Мы по-простому, как на душе лежит, не гневись за глупость нашу.

– Что ж так сробел, – улынулся царь, – или страшен я так? Давеча мы с тобой по-приятельски говорили, коли обещал пособить, так что ж, я слово свое держу. Ты, вон, и Данилычу поклонись, без него нам не справиться, – он подмигнул Меншикову, – правая рука моя во всех делах, уважь и его.

– Так, стало быть, это Меншиков сам? – Ткнув в сторону Алексашки пальцем, спросил Антип. – Слышно, бывший холоп боярский?

– Стало быть, так! – Сердито дернул носом Меншиков. – Что бывший холоп, то верно. А ныне – денщик царский и правая рука его, князь Меншиков. Да ты, купец, никак в себя не войдешь? – Он дернул Антипа за рукав.

– Прости и ты, Ляксандр Данилыч, – кланяясь теперь уже Меншикову, проговорил Антип. – Купцы – народ грубый, мужицкой породы, не взыщи, что не так!

– Ладно-ладно, – смягчился тот, – не время нам речи вести. Дело не ждет, а то прозеваем Акулину-то твою!

– Едем, – гаркнул царь, распахивая дверь. – Водки, Данилыч, захвати да еще чего для такого дела. Ну, – обратился он к Антипу, – не робей, паря, наша будет Акулина твоя! С ветерком подкатим ко двору, знай наших!

Перед трактиром стояла сытая вороная тройка.

– Айда сюда, – рявкнул царь, – с бубенцами, со звоном поедем! Вспомним, Данилыч, молодость нашу, слободку немецкую, дадим жару молодым! Пускай помнят царскую милость!

Алексашка в обнимку с пузырями бухнулся рядом с царем. Антип молча уселся напротив. Домчали быстро. Колокольцы звонили залиvisto, лошади несли резво, а ездоки то и дело смеялись, перемежая смех солеными шуточками и прибаутками. Остановились прямо у ворот Антипова дома. Купец, легко спрыгнув с возка, побежал вперед. Матушка вышла с поклоном, держа на цветном рушнике хлеб-соль. Было видно, что сын только что огорошил ее неожиданной вестью, и она, едва сдерживая слезы, умиленно глядела на входящих гостей.

– Здорова будь, хозяйка! – Улыбаясь и целуя ее в толстую румяную щеку, сказал царь. – Не время сейчас нас потчевать, уж погуляем, когда дело сладим. А теперь, поспешай за нами, сосватаем сынку твоему зазнобу его.

Перетянувшись петушастыми полотенцами, царь и Алексашка подхватили обоих под руки и пихнули в повозку.

Акулина Карповна жила по соседству. С бубенцами, с гиканьем и криками въехали они к ней на двор. Чинно сойдя с повозки, все выстроились в ряд, ожидая царева приказа. Пётр, окинув всех веселым взглядом, по-мальчишески озорно оскалился.

– Данилыч, веди, что ли, песий сын! Ты ж у нас мастер всяческих таковских дел! Да смотри, сыпь, как горох, чтоб купчихе продыху не дать.

Алексашка, ударив себя по боку руками, затараторил:

– Ух, мин херц, будь покоен, обложу, как лису в норе, не отвертится. Да и кто ж тебе откажет? Нечто дурень какой...

Вошли в дом. Просторно, чисто, в углу образа с лампадкой, посредине стол с самоваром, снедь всякая. Сама хозяйка стоит спокойненько, ни испуга в глазах, ни смущения, ни удивления, будто давно их поджидает. Статная, пригожая, глазами обвела всех, только и сказала:

– Здоровы будете, гости дорогие, милости прошу, – ручкой белой повела, за стол усадила.

А мужики-то стоят и молчат. Они-то хотели нахрапом взять, а она их степенностью своей осадил. Алексашка и тот язык прикусил, глаз так и загорелся. Уж больно смутила она его статью и сдобностью своей. Ну, не баба – яблочко наливное!

– Здравствуй, здравствуй, Акулинушка! – Подойдя к ней и взяв ее за плечи, засмеялся царь. – Вижу, не зря Антип мается, есть с чего. Ишь, малина какая расцвела, сама в рот просится! – Он смачно расцеловал купчиху в обе щеки и губы. – Сыпь, Данилыч, как знаешь, – приказал он Алексашке, – да чтоб без поворотов. Антип, вон, сам не свой.

Купец, не мигая, смотрел на Акулину Карповну и, казалось, плохо понимал, что здесь говорят. Меншиков встрепенулся.

– Сватать тебя пришли, почтенная Акулина Карповна, – скороговоркой начал он. – Такому товару – купец-молодец, Христос да венец. Что ж куковать одной? Молода, пригожа, деток рожать должна, а с молодым-то соколом и гнездышко совьешь и птенчиков выведешь. Антип тебе челом бьет, да и мы с Петром Алексеевичем хлопочем, чай, сама видишь.

– Не слепая, небось, вижу, что государь, да не разберу что-то ты кто. Тараторить мастак, а так – не пойму.

– Меншиков это, Ляксандр Данилыч, – выдохнул Антип, – денщик царский, первый его помощник во всех делах.

– Дело говорит, – поддакнул Меншиков, – вот какова честь тебе, каких сватов дождалась. Заживете с Антипкой, как мед с сахаром. И пара с вас хороша, и детушки пойдут ровные. Любо-дорого будет глянуть.

На ее-то месте другой кто, поди, и рта бы не раскрыл после всего, а этой хоть бы хны. Посмотрела она эдак лукаво на царского денщика и говорит:

– За честь такую, конечно, спасибо, – и в пояс поклонилась, – а токмо дело это такое, что нас двоих с Антипом касается. Значит, нам его и решать.

У Алексашки ажник рожу на бок свело от таких предерзостей, а она стоит себе улыбается. Антипа словно громом вдарило, бухнулся на лавку – и ни слова. Один царь стоит хохочет, заливается.

– Ай да баба, – говорит, – ай да купчиха, эка тебя, Алексашка, присадила, не убоялась! Палец-то в рот ей не суй, без руки останешься! Ты, Антип, покумекай, – обратился он к мужику, – сватать ли дале, быть тебе у нее под каблуком, не иначе! – А сам все на Антипа смотрит насмешливо.

Тот только рукой махнул: пропащее, мол, мое дело.

Однако тут Алексашка озлился больно.

– Нет, – говорит, – мин херц, коли что я зачал, так до конца доведу и бабу эту пренебреженно засватаю.

И говорит тут купчихе:

– Ты, ягодка, не больно серебрись-золотись. Антип мужик ладный, не окрученный ни разу, а ты-то уж товар не новый, той цены больше уж могут и не дать, – и ехидно так на Акулину посмотрел, – а на Антипе-то девки гроздьями повиснут – любую возьмет!

Потемнела купчиха, улыбка с лица сошла. Того и гляди самому царю отходную даст. Вскинулся тут Антип к ней.

– Акулинушка, – говорит, – милая моя, не отказывай, Христа ради, что хошь сделаю, только выходи за меня! – А сам все то на царя, то на Алексашку смотрит.

– Ишь, – царь говорит, – эго его крутит. Решай, Акулина, судьбу свою, коли так. Да смотри, не промахнись. Такими мужиками, как Антип, не бросаются! Я б за плохого сватать не пошел!

Повела тут Акулина плечиком, зарделась вся, царю в ноги поклонилась.

– Спасибо, государь, за честь, – говорит, – и тебе, Ляксандр Данилыч, тоже. За дерзкие слова не сердчайте. За то, что за мной последнее слово оставили, особый от меня поклон. А слово мое такое. Хотела я еще на воле полетать, да, видно, пора мне. Ты, Ляксандр Данилыч, верно сказал: короток бабий век, все вовремя приспевать нужно. Значит, и быть посему. Выйду за Антипа замуж!

Сладились! Поднялся тут шум, смех, стол накрыли. Сговорили молодых. Антипова мамаша уж больно была довольна. Оно, конечно, и сама сноха хороша, и добра при ней хоть отбавляй, и милость царская. Просили Петра Ляксеича с Данилычем на свадьбе быть, да куды там! Дел-то сколь у них, только успевай. А заместо подарка сделал царь Антипа поставщиком казенного провизанта, знал, поди, что не уворует. Через год родила Акулина ему сына. Петрухой назвали, а второго-то Санькой, в честь, значит, сватов своих знатных. Всего-то пятеро детишек родили, еще сынок да две девки. Хорошо жили. Только, слышь ты, Пётр Ляксеич прав оказался. Акулина всем верховодила. Как, значит, скажет, так Антип и сделает. А он не в обиде. Ежели делу хорошо да дому гоже, чего обижаться-то? С характером баба. Правильно государь узрел ее, прямо в точку попал!

Да, вот еще что. Девка-то, котора за Антипа не вышла, опосля за Акулинина брата замуж пошла, ко двору пришлась, на Антипа с Акулиной зла не имела. Дружно жили.

РУССКАЯ ВОДКА

– Слышь-ко, Захарыч, – умиленно глядя в глаза старому кудлатому солдату, улыбнулся круглолицый курносый рекрут, недавно взятый на службу и еще не утративший деревенской степенности и неторопливости в движениях, – Расскажи еще байку-то про царя. Уж больно складно врешь ты, ей-бо, тако в уши брехня твоя и катится.

– Дурак ты, паря, вовсе, – сердито заворчал старик, – деревня неотесанная. Одно слово – мелешь, не знамо что. Это собаки брешут, да ты вместе с ними, а я про ампиатора Петра Ляксеича говорю, что сам знаю, али верные люди сказывали. – Он сердито пыхнул прокуренной трубочкой и отвернулся.

Был поздний летний вечер. После дневного зноя, шагистики, муштры и разных военных дел солдаты отдыхали, собравшись возле костерков и беседуя каждый о своем. Это время было самым любимым для измученных за день людей. Ярко горели огоньки костров, то и дело выбрасывавая снопы искр, трещали цикады и пахло теплыми пряными травами. Небо было низкое и черное с большими зеркальными звездами, которые висели неподвижно и тихо, как кошачьи глаза.

Захарыч был самым старшим из четверых солдат, сидящих у этого костра. Этот старый служака всякого повидал на своем веку и слыл отличным рассказчиком. Был он уже почти весь седой, морщинистый и сухой, как облетевшее дерево. Казалось, весь он состоял из кожи, костей и жил, а концы его пальцев и зубы давно почернели от крепкого солдатского табачка.

– Не сердчай на мальчика, Захарыч, – добродушно урезонил его другой солдат, тоже поседевший, но с виду моложе и солиднее Захарыча. – Ведь Федька не с обидой к тебе, а так, по глупости брякнул. Нечто мы тебя не знаем. Сколь годов ты в службе, чего ни повидал, тертый

калач. А ему-то и охота про жите наше послушать да ума набраться. Чай, сам знаешь, как чижало спервоначалу-то. Ну, и мы завсегда к тебе с почтением, так что сделай милость, расскажи что ничто.

– То-то что по глупости, – проворчал Захарыч, – дык молчи больше, коли голова с дыркой, мотай на ус. Вперед батьки в пекло не лезь, служба наша опаская, тут не токмо языка и головы лишиться можно. Дык вот случай, как раз для Федьки.

Я тогда чуть постарше его был. Так же везде нос свой совал. Где надо, где не надо – я уж тут. Меня старики осаждают, да куды там! И приставили ко мне одного солдата, он уж годов десять отслужил к тому времени. Для степенности, значит. Звали его Артемий. Мужик был – картина: рослый, могучий, красивый, и глаза – синие-синие с черной поволокой, а волос до того темен, что аж сизый на солнце. Сдружились мы с ним, все дружка около дружки.

Оно, конечно, боязно поначалу. От родных мест далеко, все не так, все незнакомо. А с дружком-то куда как веселее, особливо, ежели он уже и сноровку имеет да и знает поболее твоего. Артюха парень славный был, не гордый. Не кичился передо мной, не насмешничал, как иные. Что знал, показывал, учил. Много я от него перенял. Обычно в службе по землячеству сходятся, а мы, видать, по характеру сошлись. Он-то сам тверской, а я с Рязани, а ближе родни иной стали. Артюха, веришь ли нет, уж больно бабам ндравился. Бывало, куда ни придем, отбою от них нету Артюхе. Так глазами и зыркают, проклятые, ну, поедом мужика едят. Он иной раз не знал, куды деться от них. Зато завсегда с ним сыти были и в почете. Уж ему бабы всего нанесут и место получше выделяют, всячески, значит, внимание привлекали. Ну, муштинское дело какое? Зажмет иную где, то-то визгу стоит! Ну, пошкочит малость, а так, чтобы сурьезно обидеть, то ни-ни.

– Да неужто до греха не доходило? – Изумился седовласый солдат, заступившийся за Федьку. – Ни в жисть не поверю, чтоб такой мужик в монахах ходил! – Он насмешливо посмотрел на Захарыча.

– Зачем в монахах, – глухо засмеялся тот, – я ж говорю, что он баб зря не обижал, а по взаимному согласию, известное дело... грех не грех, а живому – живое. Ну, дык я со свечой не стоял... И надо ж было тому случиться, что прибилась к нам одна маркитантка, с хохляндии сама, всякой всячиной приторговывала, и дочка при ней. Что, чего, откуда – все мраком покрыто, зачнут врать – не остановишь. А меж собой все по-свойски лопочут. Ничего не понять, потому как обе жидовки были. Мамаша-то так – и спяну не позаришься, зато дочка – чисто загляденье. С лица белая, а глазищи черные, огромные и две косы тож черные и ажник ниже спины. И все в ней ладно да складно, ну, загляденье, говорю. Известно, нашлись охотники побаловать, однако быстро угомонились. Мамаша кому надо шепнула, да старики по рукам дали, отшили дюже ретивых. Я хотя и сам не святой, а тоже грешник не люблю, когда баб да девок забирают напрасно. Они-то, бабы, ведь тоже люди, и им бывает чижало, а порой и чижалее нашего. Терпят много, а радости-то мало.

– Так ведь жидовка, – опять вмешался Федька, – нехристи, чаво ж их жалеть!

– Да ты и вправду дурак, Федька, – вконец осердился Захарыч. – Что ж с того? Они тоже божьи люди, и им жить охота, все перед богом равны, кто ни будь!

Федька набычился, отчего толстые губы его стали еще толще. Он перекрестился и подумал: «Пес с ним, с Захарычем, ишь чаво удумал, все в одну кучу мешать. Нечто христопродавцы хрестьянинам чета? Знамо, что от лукавого то. Он и Захарыч-то атихристово зелье курит. Ишь дымит сидит, будто печка зимой. Вонищу пуцает вокруг. Оттого и мысли у него кривые в голове!».

Захарыч зыркнул по Федьке колким пронзительным взглядом, словно прочитал его думки, и, обратившись к седому солдату, недовольно проговорил:

– Должно, Макарыч, он и меня в черти определил! Гляжись, как напыжился, вроде как лягушка раздутая! Смотри, не лопни! – Обратился он уже к Федьке, оскалив свои черные прокуренные зубы.

Федька заробел и на всякий случай отодвинулся от Захарыча подальше. Макарыч, заметив это, одобрительно похлопал Федьку по плечу.

– Не робей, малой! Захарыч солдат справный, битый, ему и черт не брат! Он с виду колюч, а своего в обиду не даст. Ты его слушай, перенимай, что сможешь, в нашей солдатской жизни уменье да старанье – первые помощники. Солдату без смекалки да рук умелых никак нельзя. Ну, дык сказывай что ли далее гишторию свою, – обратился он опять к Захарычу, – да не цепляйтесь меж собой боле.

Захарыч, будто не слыша, молча попыхивал трубочкой. Наконец, он прервал паузу и, подкладывая в костер сухих веток, продолжил:

– И случись же беда, как назло. Глянулся наш Артюха дочке-то. Бывалось, на день сто раз прибежит посмотреть на него, и все что-нибудь тащит ему: то лоскут какой, то кусок послаше, то еще чего. Мне и то перепало через него. Табачку принесет, а Артюха не курит, так мне шло. И так Артюха делился, ежели попросить особливо что, товарищ настоящий, одним словом. Поначалу-то все было хорошо, вроде как шутка. А только дале-то смотрю – дело сурьезное. Приметила мать, что пропадает у ей то одно, то другое. Известное дело – на воровство подумала. И шнырь к нашему комендору. Унтера и учинили обыск и расспрос. Тута Артюха и попался. Нашли у него всякой всячины и давай рожу бить. Слова сказать не дают, лупят без продыху. Артюха и не виноват вовсе, а его и слушать не хотят. Избили Артюху до невозможностей, барахло отобрали, вернули маркитантке, а девка ее, как в воду канула. Глаз не кажет. Обидно, конечно, что за Артюху не вступилась. Вот и решил я сам к ней пойти, хоша, думаю, пристыжу чуть. Смотрю, кибитка стоит, а никого не видать. Я обошел вокруг, не слышать ничего. Кашлянул для порядка, слышу, вроде мычит кто-то. Я тогда тихонько так позвал: «Фиря, выдь ко мне». И показалось мне, что заплакал кто-то.

Делать нечего, полез я в кибитку и вижу: сидит Фиря в углу на цепи, будто собачонка привязанная, а рот ей платком заткнут. Слезы по лицу, словно градины катятся, и руки тоже веревками стянуты. В кибитке боле никого, токмо тюки с барахлом да всякая всячина. Фиря мычит и глазами показывает, дескать, развяжи меня.

С такого, братцы, нехорошо мне прямо стало, похолодело ажик все внутрих. Живого-то человека на цепь! Лихо, думаю, дело! Ее развязываю, а у самого руки трясутся, как с буйного перепоя. Освободил я ее, а она как кинется мне на шею и ну реветь пуще прежнего. Испужался я тогда не на шутку. Знамо, коли кто услышит да войдет, что подумают. А уж ежели мамаша ейная, дык совсем пропащее дело. Стал я ее утешать. По головке-то глажу, а сам все головой кручу, прислушиваюсь, не идет ли кто, и тихохонько ей так на ушко шепчу, что не кричи, мол, милушка, успокойся, да скажи, что случилось.

Она рот ладошкой закрыла и закивала, поняла, дескать. Кое-как дознался я тогда, что избила и привязала ее мать, чтобы не бегала боле к Артюхе, что хочет она отсюда убраться, а Фиря надумала бежать, вот мать и залютовала. Я ей про Артюху сказал, так она совсем не своя стала. Шепчет чавой-то по-своему, по-еврейски, и плачет, жалобно так, будто щенок скулит. А потом прыг от меня в другой угол кибитки, как кошка на добычу, и давай там в барахле своем шурудить, а сама все чавой-то по-своему лопочет. Я уж думаю, не тронулась ли умом часом. А она вдруг опять прыг ко мне. И вижу – держит в кулачке чтой-то. Руку мою взяла и из кулачка в нее чавой-то положила и сразу зачала ругаться на меня и прогонять. От неожиданности ошалел я прямо. Черт их в душу, думаю, утекать надоть. Выскочил из кибитки – и дай бог ноги! Только и успел услышать вслед Фирин наказ: «Отдай Артемию, пусть носит, он его сбережет от беды!». Глянул я, а в руке-то у меня крест серебряный с цепью, красивой, тонкой работы. Вот, думаю, что она напоследок-то ему оставила. Наказ сполнил. Артюха-то шибко болел посля порки, а с

этого креста быстро на поправку пошел. Видно, не зря Фиря все шептала на него. Отмолила Артюху у своего еврейского бога.

Боле не видали мы Фирю, убрались они от нас. Артюха крест надел, но разговоров о ней мы уж не вели потом. И скажи ты на милость, в скольких передрыгах опосля с Артюхой ни были, ему все нипочем. Ни пуля, ни штык, никакая холера – все мимо него.

– Видать, жидовка дюже его любила, – не удержался Федька, – ишь заговорила как, не сжульничала, значит, с ним. Должно, жалко ей было, что чрез нее пострадал.

– Должно, так, – поддакнул Макарыч. – Бабы жалостливые бывают, особливо к хворым. Ну, дык дале-то, Захарыч, что было, не томи, сказывай.

К костерку подошли еще двое, и Захарыч сделал многозначительную паузу, ожидая, пока они пристроятся около. Пыхнув раза два своей трубочкой, он ухмыльнулся, оглядывая собравшихся, и довольный продолжил свой рассказ.

– С того случая прошло, можа, пять, можа, шесть лет. Я уж пообтесался к тому времени, уж не так, как ране, хвостом за Артюхой ходил, но дружбы с ним не бросал. Ведь, знамо, братцы, в службе-то нашей как без друзей-товарищей? Пропашее дело!

– А то как же, – закивали вокруг, – в службе армейской первейшее дело вместе всем, нечто один-то сдюжишь? Ни в жисть, токмо сообщача...

– Вот и я говорю так-то, – сурово поглядев на Федьку, проворчал Захарыч, – пушай молодые мотают на ус да не шебуршатся поодиночке, потому как там, где «Я», будет хрен от муравья!

Вокруг засмеялись. Федька покраснел, но тоже засмеялся.

– Время-то быстро бежит, – опять начал Захарыч, – вот и пришли мы один раз на учения в городишко один. Унтера прямо лютуют, а понять не можем с чего. Ну, а старые-то служаки смекнули.

– Это, – говорят, – должно, шишка армейская какая-нибудь прибудет. Оттого всех и мордуют без промаху. Мы же, братцы, люди казенные: нынче жив, завтра – нет, сколь у нас радостей – не так уж и много. В бою уцелеть да сытому быть, да хоть чуть тепла, да чарка вина, а ежели командир с душой, то совсем хорошо. Вот и все наши радости. Я до вина не больно охоч. Есть – выпью, спасибо скажу, нет – и так прохожу. Ведь она какая – водочка-то россейская – ежели к ей с умом, то мать родная: от хворобы спасет, в мороз согреет, духом пасть не даст. А ежели с дурью, кто чура не знает, так лютей мачехи-злодейки: всего до нитки оберет и до гроба доведет. Горький пьяница – это ж самый пропащий человек, потому как через пьянку не токмо облика своего божественного лишается, а даже хуже любой скотины становится от безмозглости своей. Артюха тож навроде меня был, спокойно к зеленой относился. По кабакам сроду не шастал, а тут, как бес его попутал.

Шинок там один был. Так себе заведение. Зато шинкарка хороша, говорят, в отказе никто не был. Уж дюже охочая баба до этого дела была! Солдат, ясно, голодный до баб. Где обломится, там и слава богу, а тут прямо со всеми услугами. Ну, Артюха, ясное дело, не оплошал. Да на беду-то свою шинкарке очинно приглянулся. Она, видать, расстаралась для него. Артюхе-то лестно, как и всякому мужику, однако служба есть служба. Засобирался он обратно, а она, язви ее, вроде как на посошок, подносит ему чарочку – он с ее и с ног долой. Бухнулся на пол бревном и лежит, словно каменный. Она его со своими прислужками опять к себе в светелку, а он мертвец мертвецом.

Время-то к ночи, а Артюхи нет. Забеспокоился я. Сколь годов вместе, такого не бывало. Стал я спрашивать, не видал ли кто его. Мне оди солдатик и скажи, шинкарка, мол, оставила его у себя, премного она им довольна. Я шасть к унтеру. Так, мол, и так. Выручать надоть товарища. Ну, унтер с пониманием был. Враз смекнул, в чем дело. «Возьми, – говорит, – кого еще да идите притащите сюды, пока беды не вышло».

Пошли мы с одним. А шинкарка, шельма, нам: «Знать не знаю и ведать не ведаю, кого вам надоть. Нет у меня никого!», – и все тут. Мы туды-сюды, нет Артюхи нигде. Я тогда ей и говорю: «Ну, коли так, стерва кабацкая, то пойдешь сама с нами. Там вспомнишь, куда Артюху дела». Испужалась она. «Ладно, – говорит, – забирайте солдатика свою», – и ведет нас в свиной катух. Тама Артюха в одном исподнем лежит на боровом месте и храпит навроде кабана. Мы его толкать, будить – да куды там! Мертвец и только! Потребовали мундир, кое-как одели и едва доволокли до места. Спал он беспробудно целные сутки. Наконец, пробудился. Головой трясет, ничего не помнит, как отрубили память. Мы ему то да сё – не помнит ничаво, и все тут! Глякось, а и креста дареного нету. Схватился он тут за голову и ну, выть-причитать, чисто дитё, ей-бо. Сокрушался шибко.

– Как не сокрушаться, – вздохнул Макарыч, – крест намоленный, дареный. Память зазнобина, а тут спокрали. Сердцу дадено, а злая рука уташила. Шинкаркино, я чай, дело. Ведь они бога не боятся. Последнее у человека отымуть, ежели слабинка в ем есть, всего человек по пьянке лишиться может.

– Конечно, шинкарка, – звонко и уверено повторил Федька, – а то кто ж еще? Ух, я бы ее за энто, ведьму подколодную!

– Ишь, шустер пострел! – Усмехнулся в свои седые отвисшие усы Захарыч. – То-то, что не она, хоша и ей виниться-каяться было за что. Ну, дык она свое сполна получила от нас. Дале слушайте, как дело-то было.

Стали мы Артюху утешать и кумекать, как крест выручать да шинкарку наказать. А тут, как ни жди, все едино, как снег на голову, объявляют нам на завтра парадный смотр, да никакой-нибудь, а ампиракторский. Сам Пётр Ляксеич зажелал все увидеть, что ни есть, и проверить. Тут уж нам не до Артюхи стало. Кругом возня, суета, тут драют, там моют и метут, муравейник да и только!

Наконец, на утро построили нас. Не токмо мы, офицеры дыхнуть боятся. Царь до армейских дел жутко строг был. Казнокрадства, пьянства али баловства какого не допущал даже в малости. Коли узнает что, крышка тому. Говорят, даже Алексашку Меншикова, коий самый верный служака ему был, и то лупил нещадно за проделки, а уж других и подавно.

Стоим мы, запрели уж все, а царя нет и нет. Вдруг видим – скочут. Мы напряглись, как струны натянутые. Рапорта пошли, команды «Ура!» со всех сторон, и царь со свитой верхами. Проскакали мимо, ну, думаем, пронесла нелегкая. Только облегченно вздохнули, а он назад ворочается. Спешился и пошагал вдоль шеренги. Идет и каждого солдата оглядывает, будто ищет кого. Подходит к нам. Мы грудь колесом, нос – по ветру, молодцы да и только. А он вдруг встал перед нами, как вкопанный, и в Артюху так пронзительно воззрился, будто наскрозь его буравит.

– А какой он, царь-то наш был? – Полюбопытствовал Федька. – Дуже приметный али как?

– Экий ты резвый, паря, – осадил его Макарыч. – Опять встрел, на самом антиресном месте лезешь! Слушай да молчи больше, телок ишо!

– Да как вам сказать, – почесал затылок Захарыч, – росту он огромного, дылда, а так ничаво особливого в ем не было, чернявенькой такой, усы торчком и одежкой не приметен. До работы, говорят, крут был. Шибко лодырей не любил, потому как сам трудом да умом до всего доходил. Вот и другим спуску не давал.

Смотрит он на Артюху так-то и спрашивает его, кто да что ты, – подолжил Захарыч разорванный рассказ. – Офицеры тут подбежали, свита вся, а Артюха слова вымолвить не может. Стоит, окаянный, молчит. Офицер за него отвечает: так-то и так-то мол, солдат Вашего Ампиракторского Величества Преображенского полка Артемий Васильев Ряднов, а другие господа офицеры кулак ему из-за царевой спины кажут. Приказал тогда Петр Ляксеич Артюхе из строя выйти, подошел к нему вплотную и прямо перед его носом крест его на цепке держит.

– Что, – говорит, – служивый, твой ли крестик али нет? – А сам так хитро улыбается. Артюха побелел весь от страха и отвечает:

– Мой, царь-государь, токмо потерял я его, а где, не знаю.

– Не терял ты его, – царь ему говорит. – Сей крест я с тебя самолично снял, когда ты, песий сын, в беспамятстве пьяный у шинкарки спал. Так-то ты, сучий потрох, цареву службу несешь, об Отечестве радеешь?

Рассерчал очень, крест опять убрал и дальше пошагал. Я Артюхе говорю: «Плохо твое дело. Кумекай теперича, как из дури этой выползть будешь. Навряд царь от тебя отстал, коли крест не отдал». Артюха токмо рукой махнул – будь что будет! Жаль мне его стало, а как помочь, не знаю. Понял, однако, что шинкарку трясти надо. Пусть, чертово отродье, говорит, как дело было. Пошушукались мы с ребятами и порешили ввечеру к ей нагряться и припугнуть, как следует, чтоб впредь не баловала и зла никому не творила. Сказано – сделано. Зашли в шинок, а она к нам с любезностями. Да куды там! Заволокли мы ее подале и давай ремнем охаживать, учить уму-разуму. «Признавайся, – говорим, – как дело было». Она и поведала.

Как Артюха в беспамятстве упал, оттащила она его с прислужками в светелку и токмо под бок ему завалиться хотела, глядь-поглядь новые служивые пожаловали. Да по ним поняла она, что люди-то не простые. Сели и давай расспрашивать, кто был да что делал. А сами все глазами зыркают. Она уж струхнула не на шутку. Мало ли какого народу шастает вокруг. Потребовали водки да закусить. Пока она туды-сюды сновала, один в светелку пробрался и кричит оттуда:

– Иди-ка сюда, мин херц, погляди на гвардейца своего. Спит, холера, в полном бесчувствии и пьян до изнеможения.

А Артюха лежит в одном исподнем, мундир валяется, и храпит аж стены трясутся. Глянул царь на него, видит крест на груди да не простой, снял он его с Артюхи, а самого велел в катух свиной снести.

– Ежели напился, как свинья, до бесчувствия, то и место его у свиней в катухе, – говорит.

А шинкарке строго-настрога молчать велел о том, кто приходил. Ну, мы ее, конечно, обнадежили, всыпали еще малость, чтобы помнила, на том и распрощались. Артюхе все рассказали об его приключениях, вот, говорим, жди теперича царева окончанья и суда. А уж что он тебе скажет, про то токмо Бог один знает. Да смотри, не вздумай ему врать, совсем тебе тогда труба.

Артюха пригорюнился. «Спасибо, – говорит, – братцы за все, а во всем сам я перво-наперво виноват. Мне и ответ держать».

Мы тож все попритихли, жалко его, товарищ все ж ки наш...

Царь долго ждать себя не заставил. Назавтра кликнул Артюху. Я его вслед перекрестил, авось, думаю, пронесет. Сели ждать, молчим все, нут-ка не сладится, опаско все ж.

Однако, ничаво, обошлось. Артюха вернулся веселый. Ворот расстегнул, крест показал. Облепили мы его тут, спрашивать зачали. Артюха смеется:

– Захожу я в царевы покои, – говорит, – ни жив, ни мертв. За столом царь сидит, возля него князь Меншиков. На столе вижу крест мой лежит. Увидели они меня и давай смеяться. Стою я и в толк не возьму, с чего энто они. Тут Меншиков и говорит:

– Здорово твои дружки шинкарку отделали. Поди, толстозадая неделю сидеть не сможет, знатно выучили шельму. Стало быть, хороший ты солдат и товарищ, коли тебе помощь и поддержка такая от них. За то государь на первый раз тебя прощает, но, ежели в другой раз попадешься, уж не взыщи. Забирай свой крест и тикай отсюда, пока цел.

Токмо Артюха крест взять хотел, а царь и спрашивает:

– А скажи-ка, служивый, откуда у тебя сей крест, столь дивной и тонкой работы, не ворован ли? – Сам смотрит пристально, испытующе.

– Подарок, – Артюха отвечает, – одной маркитантской дочки, жидовочки. А откуда у нее он, не знаю. Только наказывала она мне его носить, чтобы он от беды меня берег.

– Ну что ж, – царь говорит, – ежели подарок – забирай и носи. Да вперед знай и помни, что нет молодца, который бы обманул винца. Я и сам не святой: и водку пью, и табак курю, и до баб охотник однако ж прежде всего дело ставлю. То и тебе велю, наказ сей помни. А крест твой старинной арабской работы, потому и спросил, не краден ли, цена ему немалая. А то, может, продашь мне или хоть Данилычу? – И хитро посмотрел на Артюху.

– Не могу, государь, – ответил он, – не гневайся напрасно, подарок сей продать. Уж в нем ли сила или счастье мое такое, а токмо во всех переделках я с ним целехонек остался.

– Молодец! – Похвалил царь, – на деньгу не позарился, значит, действительно, дорог подарок. Бери свое.

Артюха крест надел, а Пётр Ляксеич себе и ему в чарки налил, выпил с ним да еще от себя ведро зеленой для нас передал в награду за солдатскую службу. Вот, как оно дело-то было. Захарыч замолчал и опять запыхтел своей трубочкой.

ЗАВЕТ ЕКАТЕРИНЫ

Его сиятельство генерал-аншеф Вишневецкий, тяжело ступая по начищенному до зеркального блеска паркету, шел, опираясь на резную трость, инкрустированную слоновой костью и черным золотом с бриллиантами. Он был уже стар, но по-прежнему высок и статен, а черты лица его до сих пор сохранили ту необыкновенную мужскую красоту, притягательность которой он не раз испытывал на женщинах в пору своей бурной молодости. Богатый екатерининский вельможа он не раз блистал на балах матушки императрицы, вызывая жаркие сплетни завистников и заставляя безутешно плакать первых петербургских красавиц. Его природная красота и необычайное обаяние легко разбивали сердца даже неприступных дворцовых львиц, оставляя его собственное в неизменном покое и мягком равнодушии. Это не было игрой, принятой в те поры знатными особами его круга. Просто плутишка Купидон до поры до времени приберегал свои стрелы на потом, дабы дать молодому графу насладиться всеми утехами любви, не неся при этом сердечных потерь, оставляющих иногда глубокие не заживающие раны.

Обласканный светом и самой Екатериной, граф с головой пустился во все тяжкие, повсюду оставляя за собой долгие воспоминания о щедрых громких кутежах, огромных карточных долгах или выигрышах и о безутешных возлюбленных, осыпанных его ласками и бриллиантами. Этот баловень судьбы легко шел по жизни, взбираясь по ступенькам вверх без особого труда и усилий. Знатность, богатство, прекрасное образование и воспитание открывали перед ним все двери, а природное обаяние и щедрость делали его душой и абсолютно незамечаемым человеком в обществе. К тому же он не был спесив, чурался лести и был несколько прямодушен, что при его деньгах и положении считалось милым чудачеством великосветского очаровашки.

Теперь, на склоне лет, в его глазах еще попыхивали всполохи бывалого огня, но жар его уже не жег, как прежде, и быстро гаснул, утомляя раненое тело внезапным приливом прежнего молодечества. Граф опустил в кресло, стоявшее посреди залы и, сощурившись, молча, взглянул на картину, висевшую прямо напротив него. Это был огромный портрет юной прелестной дамы, облаченной в ниспадающие прозрачные одежды, светящиеся перламутром шелка, залитой золотисто-розовыми лучами заката и протянувшей руку к горячему с черно-фиолетовыми глазами арабскому скакуну.

– Да-а-а-а, – протянул он, трогая лоб своей красивой холеной рукой, – Вы все так же юны и прекрасны, моя дорогая и любимая Диди, годы состарили меня и превратили в старика, но Вы, Вы все та же, как тогда, когда я увидел Вас впервые. – Он встал и потрогал портрет рукой, как будто хотел ощутить ее тепло и передать ей свое. – Вы единственная, кого я любил. Мне и сейчас кажется, что Вы здесь, со мной, и своим серебристым голоском скажете: «Милый

Remi, я здесь!»». Граф вздохнул и опять опустился в кресло. Диди, казалось, наблюдала за ним с портрета. Глаза ее были будто устремлены на графа и улыбались ему, говоря: «Продолжайте, Remi, я здесь, я все слышу. Говорите, прошу Вас!».

– Ах, Вы проказница, – тихо проорчал Вишневецкий, – Вы и теперь дразните своего преданного друга. Ну, что ж, я рад доставить Вам несколько приятных минут, мне ведь так не хватает Вас в этом огромном холодном мире. Вы всегда будете здесь, – он постучал себя по левой стороне груди, – всегда, пока я буду видеть восходы и закаты и слышать стук своего сердца.

Что еще чудилось старому ловеласу в его воспоминаниях, ведает только бог. Но он еще долго сидел, молча созерцая портрет и думая о чем-то своем. Наконец, он встал, еще раз пристально посмотрел на картину и, так же чинно, медленно и важно ступая, вышел из залы.

Лакеи в ливреях подобострастно склонялись перед ним в поклонах, а он, будто и не видя их, вышагивал, опираясь на свою роскошную трость. Теперь граф шел в свой кабинет, где его ждали белые листы бумаги и тонкое гусиное перо. На склоне лет он предался воспоминаниям и желал оставить после себя кое-какие записки о хранимых до времени тайнах его удивительных встреч с людьми незаурядными, а порой и опасными. Детей у графа не было, но, как бывает в таких случаях, находилось множество сомнительной родни, предвкушающей сытного пирога на дармовщину. Его это иногда злило, иногда смешило, а чаще всего раздражало, по сему он, совершенно не стесняясь в выражениях, абсолютно бесцеремонно выставлял всех наследников за дверь с грозным предупреждением оным об отказе от дома и наследства. Их злые языки наплодили множество слухов и сплетен о новых чудачествах графа, но поколебать его репутацию не смогли. Старые светские львы с пониманием перемигивались, обсуждая очередную графскую выходку, и только посмеивались над желторотой дальней родней его, с нахальной навязчивостью надоедавшей их приятелю.

– Чай, Роман-то Богданович и не знал про них ранее, – рассуждали они меж собой, – а ныне-то, поди ж, – родня близкая объявилась! Как почували, что орел-то постарел, так и слетелись стервятники добычу делить. Ан не тут-то было! Орел хоть и в старости, но в силе еще и мертвечиной в его доме не пахнет! Ишь, как падальщиков долбанул, едва кости унесли!

Сам же граф на все эти слухи и сплетни не обращал ровно никакого внимания. Он регулярно в свете по-прежнему жил на широкую ногу и держал двери открытыми для многочисленных друзей и нужных людей. Некоторые знатные кумушки еще злословили по поводу его возможной женитьбы на какой-нибудь молоденькой хорошенькой особе, коими до сих пор не пренебрегал на балах старый граф. Вспоминали некогда свои амурные воззрения на него, и с облегчением вздыхали, когда в очередной раз граф ловко уходил из рук новой пассии, как когда-то от них.

Роман Богданович поудобнее сел в кресло и принялся писать. Изящный летящий почерк его густо покрывал бумагу, и перо трещало, торопливо стремясь за мыслью. Вишневецкий писал легко, как под диктовку, почти без помарок, будто кто-то невидимый сверху стремил его перо по листам. В эти часы он не любил, когда его тревожили, и приказывал никого не принимать.

Слуги ходили по дому тихо, опасаясь барского гнева, и терпеливо ждали, когда он позвонит им или сам выйдет из кабинета. Работал он часа по три, пока дело шло само собой. Но как только перо его стопорилось, работа прекращалась до следующего дня, пока новая волна не несла его с должной силой по белой глади листа.

– Нынче уж хватит, – сказал граф, складывая исписанное в стопку, и поднялся из-за стола. – Тишка! – Позвонил он в колокольчик. – Вели заложить коляску, засиделся я, протрястись бы надо.

Вошедший лакей молча поклонился. Слуги уже давно изучили графские повадки и исполняли его приказы тихо и незаметно. Заложённая коляска и кучер уже ожидали графа.

Серый в яблоках жеребец нетерпеливо бил копытом. Граф чинно уселся в коляску и ткнул кучера в спину тростью.

– Поезжай, голубчик! Прокати-ка меня до Стремяного.

Кучер, молодой румяный дворовый, недавно взятый барином из деревни в имение, лихо привстав на козлах, улюлюкнул жеребцу, и тот прямо с места взял крупной резвой рысью.

Стремяное – небольшая усадьба старого его приятеля Никиты Петровича Толстова находилась верстах в десяти от его дома. Был Никита Петрович не богат, не родовит, жил скромно, но по простоте душевой искренне радовался каждому приезду графа и принимал его всегда охотно и радушно. Граф, нисколько не смущаясь их неравенством, держался с ним на равной ноге, что очень льстило хозяину, и чувствовал себя здесь уютно и комфортно.

Домчались быстро. На звон колокольцев и стук копыт вышел сам Никита Петрович и, широко раскинув руки, пошел навстречу Роману Богдановичу.

– Уж как рад, уж как рад! – Приговаривал он, обнимая и целуя графа. – Уж Вы, Ваше Сиятельство, совсем нас забыли. Глаз не кажете никому. Не захворали ли часом?

– Бог миловал, – ответил граф, – здоров, слава богу. Дела все, голубчик Никита Петрович, суета домашняя. Да и годы не те, легкости былой нет. Инда соберешься, да охота пройдет. А ныне так вдруг повидать тебя захотел, уж не сердись, коли в неурочный час приспел.

– Полноте, батюшка Роман Богданович, – Толстов взял графа под руку и повел в дом, – уж Вам ли не знать, как мы рады Вам завсегда, ведь у нас тут по-простому, по-свойски все.

– Знаю, знаю, Никита Петрович, – заулыбался граф, – потому и езжу с удовольствием и запросто. Будто и не в гостях, а дома у себя, вольготно чувствую.

Расположившись в довольно скромной гостиной, приятели отведали табачку, изрядно прочихались и, улыбаясь, посмотрели друг на друга.

– Что-то супруга Ваша, Никита Петрович, нейдет к нам? – Спросил Вишневецкий. – Занята очень иль в отъезде каком? Не знаю и думать что, уж не провинился ли чем?

– Как можно-с? – Покраснел Толстов. – Должно, выйдет сейчас. Завидев коляску Вашу, надумала платье другое надеть, вот, видно, и замешкалась. Ведь Вы знаете, сколь женский пол к Вам не равнодушен. Вот и моя дражайшая половина то ж. «Ах да ах! Я не убрана!» – и стремглав к себе. – Дарья Матвеевна, – закричал он, высоко задрав голову, – где ты там? Заждались уж тебя, пора и честь знать!

Шурша шелковыми юбками, в гостиную вошла еще довольно молодая и миловидая женщина. Поигрывая обнаженными плечами, она кокетливо протянула графу руку и мягким приятным голосом произнесла:

– Здравствуйте, любезный Роман Богданович, забыли Вы нас совсем. Уж мы с Никитушкой вспоминали Вас, – было видно, что граф ей очень нравится, – да Вам-то не до нас будто. – Она опустила глаза и покраснела.

– Отчего же? – Граф поцеловал ее руку и улыбнулся. – Напротив, я вас с Никитой Петровичем и не забывал никогда, да дела заели, голубушка. Да и вас лишний раз тревожить не резон. Сколько хлопот из-за меня всегда, право, даже неловко, как подумаю. А Вы, Дарья Матвеевна, все хорошеете раз от раза. Уж не влюбились ли, упаси бог, в кого, или какая другая причина? – Он хитро и пристально окинул ее всю взглядом и почувствовал, как вся она напряглась и задрожала от нахлынувшего на нее волнения.

– Да будет вам любезничать, – пришел на помощь супруге Никита Петрович. – Ты бы лучше, Дарья Матвеевна, гостя к обеду звала, поди, с дороги-то проголодался он. Она нынче таких грибков насолила, – Толстов причмокнул пухлыми губами, – сами в рот прыгают! Пойдемте-ка, Ваше Сиятельство, к столу. Дело это вернее, чем с дамским-то полом кокетничать!

Граф поклонился и, изящно подставив хозяйке руку, двинулся вместе с нею в столовую залу. Стол уже был заставлен всевозможной снедью, посреди которой возвышались три затейливых графинчика с напитками. Удобно расположившись друг подле друга, хозяева и гость с

аппетитом принялись за еду. Никита Петрович потчевал отменно. Вишневецкий ел смачно, много и с удовольствием. Было видно, что он большой гурман и чревоугодник, чего совершенно не стеснялся и не скрывал. Толстовым же было приятно, что столь знатная особа не только не брезгает их деревенской кухней, но и, наоборот, усердно нахваливает кулинарные таланты хозяйки и ее дворовой челяди.

Разомлевшие и раздобревшие от съеденного и выпитого, приятели вышли в гостиную и уселись посплетничать. Настроение обоих было как нельзя лучше. Дарья Матвеевна тихо возилась рядом, разбирая свое шитье, и внимательно прислушивалась к разговору мужчин.

– Какие новости в столицах, любезный Роман Богданович? – Весьма довольный обедом, спросил Никита Петрович. – Уж Вы нам расскажите с Дарьей Матвеевной, чем нынче дышат. Мы-то здесь все по старинке живем, модных романов не читаем, плывем себе по течению, куда бог ведет. А в Петербурге-то да Москве жизнь ключом бьет, людей новых и впечатлений хоть отбавляй. Просветите, Ваше Сиятельство, нас отсталых, уймите любопытство провинциальное.

– Что ж, извольте, – ответил граф, откинувшись в кресле и переведя взгляд с хозяина на хозяйку. Дарья Матвеевна, уткнувшись в свое шитье, не поднимала глаз. – В столицах нынче живут весело. Сами знаете, в Москву жениться едут, в Петербург – за чинами и наградами. Балы да обеды замучили. Театры еще в моде нынче. Весь свет там. Дамы и мадемуазели нарядами сверкают, бриллиантами. Инда в партере и ложах такой блеск стоит, смотреть больно. И уж женщины не на сцену глядят, а друг друга рассматривают, кто кого переплюнул в стекляшках этих. – При этих словах Дарья Матвеевна подняла голову и прямо посмотрела на графа. – Да, любезная Вы голубушка моя, – обратился к ней Вишневецкий, – тамошние барыни тщеславны, уступать друг другу не любят, а вот позлословить язычками своими, так не приведи бог! Зависть ведь начало всякого зла, и уж кого не взлюбят, заживо съестть готовы. Я и сам зубки их испытал, да толстокож оказался, к яду их не восприимчив. Мужчины тоже – себя показать, невесту присмотреть, к местечку теплему пристроиться – кто за чем слетаются. Опять же политика в моду вошла. Нынче, если хочешь, чтоб тебя в свете заметили, мало мазурку отменно танцевать, умей о Бонапартах рассуждать, за европейской politic следить да по салонам шастать, где языком, как помелом метут.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.